

Akiva M. Yaglom, Dec. 2, 1988; Part 1

Евгений Борисович Дынкин: Сегодня 2 декабря 1988 года, и Акива Моисеевич Яглом, с которым мы знакомы почти пятьдесят лет, оказался вдруг совершенно неожиданно в наших краях.

Ну, Кика, расскажи свою жизнь, начиная с максимально раннего возраста. Когда ты осознал вообще, что Сталин -- это не очень хороший дядя?

Акива Моисеевич Яглом: Я думаю, что очень рано. Причем, что значит рано? Рано -- это значит, что в 37 году я уже понимал всё, наверное. И я долгое время удивлялся, почему взрослые люди не понимали, а я понимал.

Е.Б.: А тебе тогда сколько было?

А.М.: Во всяком случае, в 15 лет, скажем, я уже довольно хорошо всё это понимал..

Е.Б.: Выдающийся мальчик.

А.М.: Я даже думал, что не я выдающийся мальчик, а что взрослые дяди притворяются, что им просто выгоднее не понимать. Я думаю, что большую роль сыграл мой отец, который со мной никогда не разговаривал о политике. Я потом даже с некими претензиями к нему обращался, "почему?", а он говорил, что он считает, что каждый должен сам понять. Но он меня учил всему на свете, всем предметам: и математике, и физике, и химии, которая была его специальностью.

Е.Б.: А какая у него профессия?

А.М.: Он был инженером. Окончив политехнический институт по химии, он должен был остаться в аспирантуре для подготовки к профессорской должности. Но в последний момент ему предложили креститься. Он был абсолютно неверующим, но креститься категорически отказался, сказав, что это предательство своего народа, и что он этого никогда не сделает.

Е.Б.: Это было в Москве?

А.М.: Это было в Петербурге. После этого он был отправлен на завод. Это был 1913 год, а в 1914 году началась война. Завод, на котором он работал, эвакуировался. После этого он уже почти всю свою жизнь работал в учреждениях, министерствах. В двадцатые годы он работал в Югостали. Это трест в Харькове, который возглавлял Тевосян. Потом Тевосян его взял вместе с собой в Москву. Отец с Тевосяном довольно долго был в близких отношениях, Тевосян его считал своим сотрудником. Правда, отношения охладелись, когда Тевосян перешел на "ты", а отец решил, что другого пути у него нет и начал ему тоже говорить "ты". После этого Тевосян мгновенно вернулся на "вы" и к нему сильно охладел. Через какое-то время они расстались. Хотя позднее, когда Тевосян стал наркомом черной металлургии, отец работал в этом наркомате.

Е.Б.: Тевосян своей смертью умер?

А.М.: Тевосян умер своей смертью послом в Японии, что соответствует описанию в "Новом назначении" Бека. Этот роман, изданный за рубежом, я с большим интересом прочел, когда он был опубликован в СССР. Отец считал Тевосяна очень талантливым инженером, очень умным, но абсолютно бесчестным и циничным. Отец рассказывал, что дважды Тевосян брал его на прием к Орджоникидзе. И его потрясло, что Тевосян фантастически врал Орджоникидзе в глаза. Отец считал, что Орджоникидзе ничего в

металлургии не понимал. Он был неплохой человек, но он был фельдшер по образованию, чего можно было от него ожидать? Он был сравнительно приличным человеком, своих людей как-то защищал, пытался обеспечить им благоприятные материальные и жилищные условия. Но в технике он ничего не понимал, а Тевосян ему говорил дикие вещи, что было бы очевидно для любого грамотного человека. И при этом отцу было омерзительно, когда Тевосян ему подмигивал: "Смотри, как надо!" А врал он для чего? Он был громадный мастер выбивать маленький план. Чтобы уменьшили план, он доказывал, что какие-то там станы не работают, хотя они прекрасно работали. А затем он героическим образом перевыполнял этот план и получал премии. Рассказы отца немножко не соответствуют той фигуре, которая изображена в романе Бека: такого откровенного цинизма у героя Бека нет.

Е.Б.: Я этой книги не читал. Стоит почитать?

А.М.: Стоит. Это роман о жизни высшего эшелона, в котором, например, описано как этот самый герой вместе с каким-то своим приближенным случайно задержался поздно, машина ушла, и он пошел по Москве. И выяснилось, что он не знает сколько стоит билет в метро, и спрашивает, сколько стоит до такой-то станции, не понимая, что билет до любой станции имеет одну и ту же цену. И как пройти по улицам, он совершенно себе не представляет.

Е.Б.: Но вернемся к тебе.

А.М.: Отец занимался со мной всеми предметами, и в течение многих лет моим любимым предметом была история. Однако, когда я писал в какой-то анкете, что история мой любимый предмет, я уже четко понимал, что историей заниматься не буду, потому что в нашей стране это невозможно, это ведь всё вранье. И в том, что я уже в седьмом классе это понимал, было, конечно, влияние отца, хотя он и не говорил прямо, а рассказывал, например, про французскую революцию вместо нашей. Но, скажем, в девятом классе-тридцать седьмой год, понимая, что происходит вокруг, я очень переживал за республиканцев Испании. Это было некое романтическое поветрие. А потом я встречал людей, которые тогда с ужасом думали, что же будет, если победят республиканцы -- там же будет то же самое, что у нас. И боюсь, что в чем-то они были правы.

Е.Б.: Может, Франко был не худший вариант.

А.М.: Я думаю, что испанцам повезло. Во-первых, Испания не участвовала в войне: Франко считался марионеткой Гитлера и Муссолини, но в войну-то вступить он отказался.

Е.Б.: Ну, Голубую дивизию он послал.

А.М.: Но Голубая дивизия ведь была добровольческая, и она очень активного участия в боях не принимала. А с другой стороны как быстро после смерти Франко всё вернулось к демократии -- совершенно неожиданный вариант...

До войны антисемитизма у нас в стране не было, я за это твердо ручаюсь. То есть, наверное, какой-то такой подспудный был, но...

Е.Б.: Между прочим, в четвертом классе мой одноклассник, русский мальчик, мне советовал: "Только никому не говори, что ты еврей!"

А.М.: У меня этого не было, мы как-то не различали, кто еврей, а кто-нет.

Е.Б.: В моей ленинградской школе тоже не различали, а вот в московской, в пролетарском районе различали.¹

А.М.: Я могу сказать другое. Я учился до 7 класса в совершенно страшной школе. Школа находилась у нас во дворе. Класс был удивительный: там двух или трех человек расстреляли за бандитизм. Расстреляли их через год после того, как мы окончили 7 класс. Они были постарше нас, и это была довольно большая компания.

Е.Б.: Где это было?

А.М.: Это была площадь Белорусского вокзала (когда я туда приехал он ещё назывался Александровским -- сейчас уже, наверное никто этого не помнит).

У меня лично со всеми этими бандитами были прекрасные отношения, потому что я им подсказывал и помогал на уроках. Антисемитизма не было, относились они все ко мне и к брату очень хорошо. Я был Кика, а Ися был Исей, но отношения у нас были нормальные. Я считаю, что антисемитизма, действительно, не было, и поэтому меня удивляло, что отец очень настаивал, чтобы мы пошли в технический вуз, во ВТУЗ. Я спрашивал, почему, а он говорил, что антисемитизма, конечно, сейчас нет, но он всегда может появиться, так вот инженеру это не помешает, а школьному учителю помешает.

Е.Б.: А ты знаешь, когда я математиком хотел стать, моя мама говорила: "Иди в медицинский, в лагере это может пригодиться".

А.М.: Ну, это усиленный вариант того, что мне говорил отец. И он добился, что мы ходили на день открытых дверей в Энергетический институт, и ещё в какой-то институт, в Авиационный что ли, я не помню. Мы-то знали, что мы не пойдём туда, но поскольку мы это обещали отцу, то мы с братом дружно ходили.

Е.Б.: А когда вы решили стать математиками и немножко отключиться от политики?

А.М.: Наверное, классе в девятом. Начиная с восьмого класса, мы начали ходить в математические кружки. В восьмом классе мы ходили в математический кружок при пединституте. Его вел Иван Кузьмич Андронов.

Е.Б.: Он, кажется, был довольно приличный человек, хотя и нулевой математик.

А.М.: Да, нулевой математик. Но он был прекрасный лектор. Говорят, что это было не шибко грамотно (тогда мы этого не замечали), но рассказывал он очень увлекательно. И мы с большим увлечением ходили в этот кружок.

Я всегда считал отца человеком удивительным, он много чего знал. Ещё во время войны он был членом редколлегии практически большевистской газеты. То есть, эта газета была не большевистская, а По'aley Цион (это левое крыло Бунда, которое отличалось от Бунда ровно тем же, чем большевики от меньшевиков). Отец писал для этой газеты обзоры международного положения. Он был очень левым, голосовал на выборах в четвертую (последнюю) госдуму за большевиков. Но он говорил, что его Бог спас: он не вступил в большевистскую партию, узнав в 1918 году, что по личному распоряжению Ленина какие-то меньшевики и эсеры, которые не успели вернуться из царской ссылки, были там же и оставлены. Для него это уже было слишком: он не мог пойти в партию, которая людей, посаженных за борьбу с царским режимом, оставляет там же после того, как победили противники царского режима.

¹ Примечание Е. Б. Когда в начале 1935 года моих родителей сослали в Казахстан, они отправили меня к маминной сестре в Москву, где я провел последнюю четверть четвертого класса.

А брат его вступил-таки в 1918 году и сделал карьеру. Он был близок Томскому. Мы приехали в Москву в 26-ом году, когда он был редактором газеты "Труд". Примерно в 26-ом или 27-ом году его очень сильно ругала "Правда". Говорили, что это нападение на Томского, а не на Яглома, но Яглома можно ругать, а Томского тогда ещё считалось неприличным. Дядю сняли с редакторов и отправили в Новосибирск председателем Сибирского совета профсоюзов. А после этого приехал в Новосибирск новым первым секретарем Эйхе и устроил кровавую баню, уничтожая всех в какой-то степени связанных с левой или правой оппозицией. Дядю спас Микоян, который его знал давным-давно. Он приехал в Сибирь, забрал дядю в Москву и сделал его своим заместителем. Микоян был тогда Наркомснаб -- это объединяло министерства внешней и внутренней торговли, легкой промышленности, чего-то ещё. Наркоматов-то было тогда, наверное, всего штук восемь.

Е.Б.: Какой там был анекдот про Микояна?

А.М.: Да, "От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича". Но дядю моего он спас. Однако в 38-ом году дядю посадили, и он получил 10 лет без права переписки.

Е.Б.: Мой папа, который ни в какой политике никогда в жизни не участвовал, получил тот же приговор. По-видимому, их сразу расстреляли.

А.М.: 10 лет без права переписки -- мы-то сейчас знаем, что это -- расстрел, а тогда мы этого не знали, и я много лет по глупости надеялся, что дядя выйдет и мне расскажет что-то про историю партии. Он был близок и с Бухариным. И в детстве мы с братом носили костюмчики сшитые из отреза, который Бухарин привез из Германии и подарил моему дяде, а дядя подарил моему отцу. Сейчас уже можно рассказывать про такой криминал!

Е.Б.: Штанишки звучит даже лучше. "Мы ходили в штанишках из материала, подаренного Бухариным".

А.М.: В своей жизни я встречал несколько человек, которые дядю знали и относились к нему с какой-то любовью. Вот случай, который стоит того, чтобы о нём рассказать. Это было в университете, на втором или на третьем курсе, ещё до войны. Я сдавал политэкономия какому-то человеку, который у меня спросил: "А Яглом профсоюзный- это ваш отец?..".

(Почему-то его все, кто его знали, называли его "профсоюзным". По-видимому, потому что он работал в профсоюзах при Томском. Кстати, он получил за строительство --орден Трудового Красного Знамени, которых в то время давали мало. Сейчас это комбинат имени Микояна. Но после этого его расстреляли очень быстро.)

Так вот, этот преподаватель меня спросил: "А профсоюзный Яглом -- это ваш отец?". Я сказал: "Дядя". Преподаватель спросил: "А где он сейчас?". Я сказал: "А его нет". "Ах, да, конечно, конечно. Ну ладно, дайте вашу зачетную книжку." Прибавил: "Хороший был человек", и поставил пятерку, ничего не спрашивая. Это был мужественный поступок, в какой-то степени.

Е.Б.: Ну, пятерку поставить -- может быть, и нет, но сказать при этом...

А.М.: Не спрашивая поставить пятерку -- это был некий политический поступок, это было явное выражение сочувствия. Совершенно неожиданное.

Отец дожил благополучно до шестидесяти лет и скончался, не дожив до смерти Сталина. Он все время повторял, что он моложе Сталина, но, тем не менее, он умер раньше Сталина.

Е.Б.: Может быть, перейдем теперь к математике?

А.М.: Для того, чтобы нас с братом привлечь к математике, отец начал решать конкурсные задачи для школьных учителей из журнала "Математика в школе". Будучи рядовым инженером, он два года подряд получал первую премию. Он ушел из семьи -- потому что он хотел учиться, а никто в семье его не учился. Поскольку евреев не принимали из-за процентной нормы, он на попутном транспорте перебрался сперва в Германию, а потом в Бельгию. Учился в Бельгии в политехническом институте, зарабатывая на жизнь тем, что давал уроки математики и иврита (тогда это называлось древнееврейским языком). Он кончал хедер, и, следовательно, знал древнееврейский язык. Потом он из Бельгии перебрался в Варшавский Политехнический институт, а когда открылся Петербургский, он перебрался в Петербургский. В 1919 году он окончил Петербургский Политехнический институт. И вот он таким образом нас заинтересовал математикой. А потом мы с братом сами уже решали такие задачи.

Я поступил в университет в 38 году, а до этого мы сперва участвовали в школьном математическом кружке при пединституте, а потом, с девятого класса, перешли в школьный математический кружок при МГУ. Это был совсем другой стиль. Там были только лекции Ивана Кузьмича Андропова, а здесь по воскресеньям читали лекции Шнирельман, Понтрягин, Колмогоров. Из этой троицы лучше всего читал для школьников Шнирельман. Колмогорова было трудно понимать.

Е.Б.: Да, наверное. Ну, вот расскажи про это, это все-таки тоже история.

А.М.: Тоже является историей, как мы с братом перетащили в школьный математический кружок при МГУ своего сверстника. Мы учились в школе--семилетке в нашем доме. Там восьмого класса не было, и все, кто хотел учиться дальше, пошли в соседние школы. Мы попали в 114 школу, а наш одноклассник Толя поступил в школу 113. И через некоторое время он нам сообщил, что у него в классе есть очень сильный математик, который не хуже нас решает математические задачи. Его зовут Андрюша Сахаров. Мы возмутились -- кто может лучше нас решать математические задачи? Так вот мы пошли знакомиться с Андрюшей Сахаровым. Парень нам с братом понравился, и мы его затащили в школьный математический кружок при МГУ. И в девятом классе (значит, по-видимому, в 36-37-ом учебном году) мы вместе с ним ходили в школьный математический кружок, который вёл Шклярский.

Е.Б.: Расскажи про Шклярского. Он того заслуживает.

А.М.: Шклярский создал свой стиль. На занятиях он сам рассказывал кое-что. Нам казалось, что это импровизация, но потом мы с удивлением узнали, что, на самом деле, он очень много готовился.

Е.Б.: Как все мы потом тоже много готовились.

А.М.: Да, да. Еще большее место занимало решение задач, которые давались на дом. И на следующий раз мы выходили и рассказывали решения. Андрюша Сахаров, хоть и сильный математик, оказался не очень приспособленным к этому стилю. Задачу он часто решал, но не мог объяснить, как он пришел к решению. Решение было правильное, но объяснял он очень как-то заумно и понять его было трудно. У него удивительная интуиция, он как-то понимает, что должно получиться, и часто не может как следует объяснить, почему это так получается. Но как раз в атомной физике, которой он потом занялся, это оказалось тем, что надо. Там (в то время, во всяком случае) не было никаких

строгих уравнений и математическая техника не помогала, а интуиция была необычайно важна.

А Шклярский необычайно увлекательно рассказывал. Кроме того он с нами ходил гулять и пытался при этом нас воспитывать. Он был гораздо более советским, чем мы с братом. Например, он нам пытался объяснять, какой великий поэт Маяковский, а мы, естественно, категорически это отрицали -- причем показывали очень низкий уровень тем, что нам нравился Брюсов. Сейчас я понимаю, что Брюсов -- поэт много хуже Маяковского, а тогда мы этого не понимали.

Шклярский нам читал также стихи классиков, например, Пушкина.

Е.Б.: Он был старше вас лет на 5-6?

А.М.: Меньше, я думаю, что года на 4.

Е.Б.: Это было такое счастливое время. Потом и вы, и я увлекались такой же деятельностью.

А.М.: Да, да, да, это было очень счастливое время. Была такая традиция, что мы все называли его Додик.

Е.Б.: Ну, естественно, -- так же, как я Женя до сих пор для Карпелевича и других участников моих первых кружков.

А.М.: Между прочим, в 10 классе Сахаров уже не пошел в математический кружок. Когда мы у него спросили почему, он ответил: "Ну... вот если бы был физический кружок при МГУ, я бы пошел, а в математический мне не хочется". Может быть, у него не было любви к строгости. Он, действительно, был в большей степени физиком, чем математиком.

Е.Б.: Ну, это разные науки, разный стиль.

А.М.: Мы продолжали с ним встречаться, были несколько раз у него дома. Он жил недалеко от нас, в районе Тишинского рынка.

Akiva M. Yaglom, Dec 2, 1988; Part 2

А.М.: Мы с братом говорили, что один пойдет на физфак, а другой на мехмат и что мы будем разыгрывать кто куда, а на самом деле мы будем оба учиться на обоих факультетах. Но я думаю, что это была немножко игра. Я пошел на физфак, а брат на мехмат, и, наверное, так и было задумано заранее.

В начале мы, действительно, учились вместе. Я учился только на мехмате, потому что на физфаке никаких физических дисциплин кроме общей физики не было. Общую физику мы слушали вместе.

Е.Б.: Это был вообще кошмар какой-то -- Млодзеевский.

А.М.: Он прекрасно показывал опыты.

Е.Б.: Да, и он нам говорил про идеализм Эйнштейна и объяснял, что силы инерции это мнимые силы. В общем, он воевал с идеализмом в физике.

А.М.: Все это было как-то неинтересно, потом мы даже бросили слушать.

На первом курсе мы пошли на семинар, который вели Гельфонд и Шнирельман. Предполагалось, что там будет аналитическая теория чисел и теория функций комплексного переменного и они были очень разочарованы, что пришли мы, первокурсники. И надо сказать, что Гельфонд показал себя поразительно: учитывая, что большинство слушателей были первокурсники, он в течение двух или трех лекций рассказывал теорию функций комплексного переменного для людей, которые еще интегралы не знали, вообще ничего не знали. И это было увлекательно и интересно рассказано.

А потом началась теория чисел. Например, рассказывалась плотность по Шнирельману. Все это было, действительно, очень хорошо. Но тянулось очень недолго. А потом пришел Гельфонд и сказал, что Шнирельман умер... Я не помню, плакал ли он, во всяком случае, он был страшно расстроен. Сказать, что Шнирельман покончил жизнь самоубийством, Гельфонд не мог. Он был в чем-то очень советский человек. Мог и бояться просто. Во всяком случае, было сделано все, чтобы мы не понимали, что происходит.

Е.Б.: Ну, разумеется. А ты знаешь, как это все было? Мне Софья Александровна Яновская рассказывала, что он оставил записку: "Я умираю честным перед товарищами и советской властью". Его заставляли доносить.

А.М.: По-видимому, это была громадная трагедия для советской математики, что умерли два бесконечно талантливых и, как говорят, бесконечно порядочных человека: Урысон (совсем рано), и Шнирельман.

Е.Б.: Ну, да. Ну, Урысон — это был, так сказать, несчастный случай, а Шнирельман — это преступление. Софья Александровна мне говорила, что работника НКВД, который его вербовал, расстреляли. Но от этого, конечно, Шнирельман не вернулся к жизни.

А.М.: Ну да. А к нам на семинар Гельфонд в качестве своего соруководителя пригласил вместо Шнирельмана Делоне. И Делоне быстро-быстро нас всех от Гельфонда утащил к себе. Он ведь необычайно увлекательно рассказывал.

Е.Б.: На нас он уже не производил такого впечатления.

А.М.: У меня было впечатление о нем, как о лучшем лекторе, которого я слышал. Он рассказывал необычайно блестяще.

Е.Б.: Он приятный был лектор, но, когда я уже учился, это было скорее вроде цирка.

А.М.: Нет, в наше время это было необычайно увлекательно. К тому же он зазывал нас к себе домой, и мы сидели у него до поздней ночи.

Е.Б.: Ну, конечно, он любил с молодежью сплетничать. Он даже рассказывал, что советских математиков не пустили на конгресс в Осло из-за того, что там был Троцкий. Решался на это в 40-х годах.

А.М.: Домой к Гельфонду я ходил гораздо позже, тогда-то мы к нему домой, естественно, не ходили. Гельфонд был очень талантливым математиком и добрым человеком, который за многих заступался. Но с другой стороны, он был человеком, лишенным чувства юмора. У него была какая-то внутренняя, такая партийная серьезность (он действительно был членом партии). Я помню, например, что он ругал Киплинга, объявляя, что это империалистическая пропаганда, что на меня производило очень смешное впечатление. Но он твердо верил, что Киплинг --- это вредно и что его нельзя читать. Он также ругал, опять же называя чуть ли не антисоветчиком, Честертона за роман "Человек, который был Четвергом" — который, по-моему, просто прекрасная пародия на детективный роман. Что здесь он заметил антисоветского, я не знаю. Попутно очень ругался и на Таирова, который поставил спектакль "Человек, который был Четвергом". Он соблюдал какую-то такую партийную ортодоксальность. Он ведь был очень близок с Виноградовым. И был такой разговор, что учебник по теории чисел Виноградова на самом деле написал Гельфонд. Гельфонд был, действительно, редактором первого издания, а Виноградов, как известно, хороший математик, но связно ничего изложить не может.

А с Понтрягиным мы подружились позже. С ним мы тоже ходили гулять, и он рассказывал про Гельфонда один из забавных фокусов Лузина. Лузин, как известно, любил издеваться над людьми. А Гельфонд был, во-первых, партийный, а, с другой стороны, без чувства юмора. И когда Гельфонд решил седьмую проблему Гильберта, то Лузин объявил ему, что его лично вызывает Николай Иванович Бухарин (тогда главный редактор "Правды"), чтобы напечатать в "Правде" большую статью о решении седьмой проблемы Гильберта. И Гельфонд пошел к Бухарину на прием. Бухарин, естественно, его не принял. Гельфонд сказал что Бухарин лично интересовался его достижением, на что секретарша ответила, что Бухарин ничего про это не знает, но если это действительно такое великое достижение, то он может послать корреспондента, который с Гельфондом поговорит.

Е.Б.: Все это любопытно. Еще сколько-то лет и такие черточки будут утрачены. Расскажи про Понтрягина. Есть знаменитая фотография: Ягломы, Кронрод, Понтрягин и Шклярский.

А.М.: Кроме того, там еще совсем молоденькие Болтянский и Яблонский, которые получали тогда первую премию на олимпиаде, а также маленькая девочка Неля — получившая также первую премию. Она была тогда в седьмом классе и потом математиком не стала.

Е.Б.: Я помню еще те времена, когда Кронрод — а может быть, и вы тоже — настаивали на том, что хорошеньким девочкам надо давать премии, даже если они не очень их заслуживают, потому что на мехмате нужны и хорошенькие девочки.

А.М.: Мы его поддерживали, но идея, безусловно, была Кронрода. Он даже добился такого странного решения, что любой из членов оргкомитета олимпиады может добиться

третьей премии для девочки, которая ему понравилась — только не выше третьей! — если она хорошенькая и остальные это тоже признают. И я помню, по крайней мере, одну получившую именно таким образом третью премию. Это была Таня Доронина, нынешняя жена Ивашова-Мусатова.

Е.Б.: Я сейчас не помню конкретно имен, но я помню, что такие разговоры были.

А.М.: А мы с Исей очень боролись за Лелю Морозову, которая была наша с ним ученицей по школьному математическому кружку. Но она, было признано, заслужила третью премию сама, независимо от своих внешних достоинств. Она потом всегда играла очень положительную роль на факультете.

Е.Б.: Так что Понтрягин когда-то не гнушался дружить с евреями. Что с ним потом случилось? Есть легенда, что он стал антисемитом из-за того, что Лида Юденсон ему отказала во взаимности.

А.М.: Я думаю, что это ерунда. Единственное, что я могу сказать, что вокруг Понтрягина всегда крутились хорошенькие еврейские девочки. Первое поколение — это были Роза Бари и Ася Гуревич.

Е.Б.: Роза Бари, ставшая женой Ефимова.

А.М.: И Ася Гуревич, ставшая женой Рохлина. Это были его первые аспирантки. И за Асей он очень серьезно ухаживал, это была его серьезная любовь.

В следующем поколении, до Лиды Юденсон, была Лена, которая стала женой Бори Каценельбаума. Он сейчас в институте радиотехники и электроники, а, к сожалению, Лена Нахимсон умерла два года тому назад. Очень симпатичная женщина.. И таких еврейских девочек вокруг было без конца. Не говоря уже про мальчиков, потому что с ним ходили гулять и я, и брат, и Кронрод, и Боря Розенфельд.

Е.Б.: Он не проявлял к вам никакой неприязни?

А.М.: Нет, никакой, наоборот. Понтрягин был странным человеком, он всегда расспрашивал, кто как выглядит, с Борей Розенфельдом они обнаружили общую знакомую по внешнему описанию. Фамилию они просто не знали, а имя как-то у них немножко отличалось по памяти. Но по внешнему описанию они установили, что это одна и та же женщина. И, когда мы гуляли, он всегда расспрашивал, кто как выглядит. И о пейзажах расспрашивал. Когда он ослеп, ему было 12 лет. И он несколько не скрывал свою слепоту

Во время войны это был единственный мой профессор, с которым мы с братом переписывались: он из Казани писал нам письма. Причем он не знал азбуки Брайля, ему мать, читала все работы, она выучила иностранные языки настолько, что могла читать ему математические статьи.

Е.Б.: Ну, да, а потом он мать отправил в больницу умирать. И как-то очень ее унизил.

А.М.: Да, и это тоже. Ты знаешь, что она умерла несколько лет тому назад? Она психически больная была, и умерла в сумасшедшем доме. К ней ходила туда Лида Юденсон. Мать я тоже знал. Она считала, что ни одна женщина с ним не уживется. Она считала Понтрягина своей собственностью, для нее вся жизнь в этом была. Она с ним ходила, она ему читала, она, не зная математики, умудрялась что-то за него писать. Он сам печатал свои работы. Кстати, и письма нам печатал на машинке. Во время войны, я думаю, у него были и другие корреспонденты. Все еврейские, наверное.

Е.Б.: Это какой-то в высшей степени интересный феномен.

А.М.: Опять же надо тоже знать, что Понтрягин, по крайней мере в двух случаях, помог людям вытащить из лагеря: Рохлина и Ефремовича.

Е.Б.: В обоих случаях Колмогоров тоже участвовал.

А.М.: Да, но Понтрягин более активно: по поводу Ефремовича он ходил к министру внутренних дел Круглову (был такой). А вот что с ним произошло, так и никто не понимает. По-видимому, большое влияние на него оказала его жена. Говорят, что она была очень противная женщина и отчаянная антисемитка. Кстати, сам ведь Понтрягин объясняет в своей автобиографии, что он начал читать планы Физматгиза, и его жена, просмотрев эти планы, сказала, что что-то все авторы совершенно одинаково звучат. Может быть, это было в газете "За социалистическую индустрию", которая считалась тоже антисемитской. Там было несколько статей Понтрягина.

Е.Б.: Трудно вообразить в подобной роли Колмогорова. Я не могу сказать, что он был юдофилом, но он заведомо не был антисемитом.

А.М.: Он заведомо не был антисемитом. Что касается Павла Сергеевича Александрова, в чем-то более рафинированного интеллигента, чем Колмогоров, то при всем его стремлении как-то подлаживаться к начальству, в этом вопросе он абсолютно не мог подладиться.

Е.Б.: Урысон был его, как ты знаешь, очень близким другом. А читал ли ты его знаменитую статью в "Успехах математических наук" об Иване Матвеевиче, как ученом и директоре Стекловского института? Мне объяснял Ширяев, что эта статья была написана очень прагматически: его последний любимец был Щепин, и для Павла Сергеевича было очень важно, чтобы того приняли в Стекловский институт. И ради этого он был готов на всё. Павел Сергеевич завещал Щепину, кстати, свою половину дачи в Комаровке.

А.М.: Тем не менее, единственное, за что я ручаюсь — что Павла Сергеевича (и он это не скрывал — в моём, во всяком случае, присутствии, но это я убежден, что было совершенно искренне) что антисемитизм его страшно раздражал. Для него это было какое-то личное оскорбление. Он чувствовал себя русским интеллигентом, и ему казалось, что это оскорбление всей русской интеллигенции.

Е.Б.: Ну, Колмогоров говорил, что, если надо принимать наиболее талантливых даже существует процентная норма.

А.М.: Да, Колмогоров такое говорил, но ему антисемитизм был тоже неприятен. Он не был, так сказать, юдофилом, и евреев среди ближайших к нему людей, по-моему, не было.

Е.Б.: Не было, но это другая сторона его жизни. Его личные симпатии — это одно дело, а его приверженность математике — это совсем другая сторона. И он надел все свои медали и пошел меня защищать в министерство, когда меня хотели после аспирантуры услатить в Витебский пединститут. Он защищал и Синая, и Добрушина, и Ягломов. Он очень высоко оценивал Синая, и полувеврея Арнольда он ставил чрезвычайно высоко.

А.М.: Да, конечно, конечно, он для всех нас очень много хорошего сделал и, конечно, Андрею Николаевичу антисемитизм был активно неприятен тоже, как человеку русскому и интеллигентному... Его это как-то оскорбляло, такого он принять не мог.

Теперь я расскажу, как один-единственный раз я разругался с Андреем Николаевичем. Это было на банкете, посвященном защите диссертации его ученика Арато из Венгрии. Я был оппонентом. И вот на этом банкете — тогда еще не запрещены были банкеты после

защиты диссертаций — единственный раз в жизни Андрей Николаевич на меня накричал. А дело было вот в чем: разговор почему-то зашел о политике, и в газете было объявлено о том, что организуются какие-то совместные франко-немецкие воинские части. И я сказал, что это прекрасно, что это конец исторической вражды, и вообще национализм мне неприятен. И здесь он вдруг начал на меня кричать: "Как вы такое можете говорить, ведь французы столько страдали от немцев и французы — прекрасный народ, а немцы — это ведь мужланы, и они всегда мечтают только что-то захватить". Откуда у него были такие антинемецкие взгляды?..

Е.Б.: А к Гильберту как он относился? Он же бывал в Геттингене.

А.М.: Да, он бывал в Геттингене, и между прочим писал, что в Геттингене ему не понравилось. А Францию он очень любил. Так же как он любил французский язык и не очень любил немецкий — он свободно знал и тот, и другой, но предпочитал французский (и не знал английского). Но вот он на меня буквально накричал. Результат был немножко неожиданный. На следующий день он мне позвонил (он делал это совсем редко) и сказал: "Акива Моисеевич, я у вас никогда не был на новой квартире, вот я сегодня буду там во дворе, можно я к вам зайду?" — вот такой, немножко необычный способ извинения за свое вчерашнее поведение.

Е.Б.: В общем, конечно, человек он был очень необычный. Я в его присутствии чувствовал (да, наверное, и другие в его присутствии чувствовали), что это великий человек.

А.М.: Да, безусловно.

Е.Б.: Понимаешь, это редко бывает.

А.М.: Да, конечно, он действительно человек великий. Но я сейчас, уже на старости лет, понимаю, что я бывал часто (и сейчас даже иногда бываю) в присутствии другого великого человека — Андрея Дмитриевича Сахарова. Так вот, по человеческим качествам я к ним отношусь по-разному. Но Андрей Николаевич, конечно, великий человек. И дал он нам необычайно много.

Е.Б.: И не только нам.

А.М.: Громадная, самая гигантская школа. Причем я всегда считал, что Андрей Николаевич может вытаскивать и людей не очень достойных, но никогда не будет валить достойных, достойным он всегда будет помогать. Под конец уже, к сожалению, он немножко изменился, не было уже стопроцентной уверенности.

Е.Б.: Нет, все-таки это было какое-то светлое пятно в темном царстве.

А.М.: Безусловно, хотя он был соглашателем. Меня очень огорчило его письмо с извинением по поводу сессии ВАСХНИЛ и менделизма-морганизма. Причем, это ведь смешная вещь: он извинялся за работу, в которой никакой проповеди генетики не было..

Е.Б.: Я его не осуждаю, я наоборот считаю, что он ловко выкрутился, он ведь ничего не напечатал на эту тему.

А.М.: И тем не менее, какие-то вещи, которые меня раздражали, он делал. А сейчас бороться с этим очень трудно. Например, введение для математического ожидания буквы М вместо Е. Потому что буква Е — это "expectation", это "Erwartungswert", это "esperance mathematique". На английском, немецком и французском — это три разных слова, и они все начинаются с буквы Е, а на русском — это математическое ожидание.

Е.Б.: Я писал всю жизнь в России М — но не важно, какое это имеет значение?

А.М.: Колмогоров это ввел именно в качестве борьбы с космополитизмом.

Е.Б.: Я не думаю. Разве у него не было в первом издании «Основных понятий теории вероятностей»?

А.М.: Нет, в первом издании было Е.

Е.Б.: Ну, лучше написать букву, чем убивать людей.

А.М.: Да, конечно, лучше.

Хуже, все-таки, то, что он подписал письмо против Солженицына. Я думаю, что в нем некий национализм был, и чем-то ему Солженицын должен был быть близок. И они вдвоем с Александровым подписали письмо против Солженицына, которое не надо было подписывать.

Е.Б.: Ну, это, знаешь, они по инерции подписали. Их били, били, били, и они уже привыкли, что...

А.М.: Колмогоров, все-таки, часто был соглашателем. Он поддерживал при выборах в академики Тихонова, для того, чтобы не выбрали Маркова, с которым у него были расхождения по вопросам обоснования математической логики.

Е.Б.: Видишь ли, что касается Маркова, то я тебе могу кое-что рассказать.

А.М.: Нет, Марков, мне казалось, что человек приличный.

Е.Б.: Но в какой-то момент во время Сталина было обращение в ЦК КПСС, что так же как есть морганизм-менделизм, так есть и теоретико-множественный идеализм. И Марков, вместе с Еругиным и с А.Д. Александровым просто требовали изничтожить теоретико-множественный идеализм — то есть Колмогорова. А. Д. Александров и Марков выступали на заседании Московского математического общества и обвиняли Колмогорова в теоретико-множественном идеализме. Это были не шуточки — это был 52 год, или около этого. И Колмогоров даже обращался к Софье Александровне Яновской, как авторитету по философии, считает ли она оправданной эту атаку.

А.М.: Теперь насчет Тесного содружества.² Вот ты говорил, что покался Курош — я не помню, как он покался. Станным образом человек, который не идеально себя вел позже, но здесь он был, с моей точки зрения, вполне хорош. Очень смешно покался Маркушевич. Маркушевича обвиняли, что он объяснил своим ученикам, двум еврейским мальчикам, что он их не может принять в аспирантуру, потому что они евреи. Маркушевич публично каялся: да, он не знал, что этого нельзя говорить, он больше никогда этого говорить не будет.

Е.Б.: Но ты же там не присутствовал.

А.М.: Я не присутствовал, мне рассказывал Ися. Ися был уже доцентом, и когда было голосование, он вышел просто.

Е.Б.: Нет, ну что значит вышел? В качестве демонстрации что ли?

А.М.: Чтобы не принимать участия в голосовании — потому что голосовали все, а не только члены ученого совета.

Е.Б.: Ну, я такого не помню. Я, более юный, чем твой брат, там присутствовал. И я помню эту историю с Курошем, который вынужден был там открещиваться. И кто-то еще там был.

²Группа студентов пятого курса (большинство из них евреи), обвиненная в «клевете на советский строй», так как они обсуждали дискриминацию евреев при приеме в аспирантуру. Почти все они были исключены из университета накануне выпуска.

И, кстати, между прочим, Софья Александровна была в таком же жутком положении, потому что она, естественно так же объясняла своим ученикам, что она ничего для них не может сделать. Но она просто не пришла — она в это время легла в больницу.

А.М.: А что касается Колмогорова, то Колмогоров выступал очень прагматически, и в чем-то, Ися говорил, неприятно. Но он не был готов Колмогорова обвинять. У того была конкретная задача. Ему надо было защитить Юру Прохорова, и поэтому он пытался объяснить, что вина разных людей разная, нельзя всех ставить на одну доску. И тут ничего сказать нельзя, потому что, действительно, помочь Акивису, Лифшицу и другим было трудно.

И Ися говорил, что его глубоко потрясло выступление Хинчина, который заявил, что он, Хинчин, чувствует себя глубоко виноватым. Хотя он, конечно, ни с кем из этих лиц не имел личных отношений (у него вообще учеников никогда не было), но, тем не менее, он чувствует себя глубоко виноватым, потому что они слушали его лекции, а он их не распознал.

Е.Б.: Ничего подобного я не помню. Я помню, что Горбунов выступал с обвинениями. Лидский там был тоже молчал.

А.М.: Лидский вел себя прилично. Он отказался отречься от Гельфанда. Он член партии и пришел из армии, ему предлагали аспирантуру, но не у Гельфанда — и он отказался.

Е.Б.: Это мы перескочили через большой промежуток времени.

А.М.: Хотя Хинчин считался лучшим лектором на мехмате, но он был, все-таки, прекрасным лектором для слабых студентов. Он говорил очень хорошо, но слишком разжевывал.

Е.Б.: Я ни разу не слушал Хинчина, поэтому я не знаю. Я смотрел его «Восемь лекций по анализу» — нормально, ничего. Для меня, например, был хорошим лектором Гельфанд — на первом курсе. Он был очень плохим лектором, но меня он сделал математиком. Так же как и Колмогоров.

А.М.: Так же, как и Колмогоров, который, с моей точки зрения, был ужасный лектор. Я в какой-то момент вел упражнения по теории вероятностей за Колмогоровым.

Е.Б.: Я тоже вел.

А.М.: У меня была совершенно женская группа, необычайно слабенькая. И Колмогоров мне с гордостью сказал, что он на первой лекции рассказал всё до закона больших чисел включительно, а когда я пришел и спросил: "Что же вам было рассказано на первой лекции?", наступило смущенное молчание, потом девочки хором сказали: "А мы ничего не поняли". И, честно говоря, весь этот год я вначале кратко излагал содержание предыдущей лекции Колмогорова. Сильные студенты не ходили на упражнения, а слабые ходили, они ничего в его лекции понять не могли.

* * *

А.М.: В общем, мы действительно много видели. Мне жалко очень, что Ися не записал воспоминаний. Они были бы необычайно интересны, хотя и содержали бы элементы неверные, потому что он иногда и завирался. Бывали вопросы, в которых мы резко

расходились в наших воспоминаниях. И часто невозможно проверить, что же было на самом деле.³

Е.Б.: Ну, расскажи про Израиля Моисеевича. Как ты с ним познакомился, как ты с ним работал?

А.М.: Никаких его лекций я не слышал. Он вел упражнения еще до войны, но на мехмате я ни на какие упражнения не ходил. Так что мы познакомились по линии школьного математического кружка. Он читал лекции и в один из довоенных годов он был руководителем, а мы с братом членами оргкомитета олимпиады.

Е.Б.: Я могу повторить то, что уже сказал об Израиле Моисеевиче Гельфанде. Я ему очень многим обязан, но вот разные люди говорят о нем разное.

А.М.: Ну, он человек, конечно, очень сложный. Я считаю, что на Израиля Моисеевича Гельфанда в течение многих лет очень положительно влияла его жена Зоря Яковлевна Шапиро, совершенно прелестная женщина. Она живет сейчас в нашем доме, мы ее все очень любим. Надо сказать, что ни к кому Гельфанд так по-хамски не относился, как к тем людям, которые были к нему наиболее близки. Фантастика, что он выделял на своем семинаре с Зорей и с Юрой Шиловым.

Е.Б.: Ну и, конечно, с Неймарком он то же выделял. Да и с кем он не выделял.

А.М.: С Неймарком все-таки немножко, а вот на этих он просто орал. На меня, тем не менее, он никогда не кричал.

Е.Б.: На меня он тоже не кричал. Но, в какой-то момент я на него обиделся и ушел от него к Колмогорову.

А.М.: Он, действительно, человек, с которым довольно трудно, хотя он много что сделал. Хотя он людей довольно сильно эксплуатирует. В общем, он, конечно, не идеальный человек, хотя интересный.

Е.Б.: Безусловно. А как ты вообще работать-то с ним стал?

А.М.: Вот здесь — типичный Гельфанд: он сам мне это предложил.

Е.Б.: Ну разумеется. Когда я был первокурсником, он завербовал нас с Кронродом писать приложение к книжке по линейной алгебре.

А.М.: Меня он завербовал позже, когда я вернулся после войны из эвакуации, из Свердловска. Он тогда увлекался теоретической физикой, и его очень привлекало то, что я окончил физфак. Поэтому он какое-то время просто ко мне подлизывался, чтобы уговорить с ним работать. И он меня уговорил-таки.

Е.Б.: Он умел быть очень убедительным.

А.М.: Да. И я очень увлекался работой с ним. Я считаю, что мне страшно повезло на учителей — потому что и Колмогорова, и Гельфанда я могу рассматривать как своих учителей.

С Гельфандом я довольно много работал. Типична работа по функциональным интегралам, классическая в том смысле, что Гельфанд ее не писал — как и все наши совместные работы. Но это единственная работа, которую он не только не читал, но просто не хотел о ней говорить. Он сказал, что не надо этим заниматься. У нас был

³ Примечание Е.Б. Вероятно, это замечание можно отнести и к приведенным выше рассказам Иси Яглома о выступлениях Маркушевича, Колмогорова и Хинчина на собрании, посвященном Тесному содружеству. Я бы, наверно, запомнил эти выступления, если бы они были, но я их совершенно не помню.

совместный семинар по функциональным интегралам на мехмате. Довольно сильные ребята ходили на этот семинар. Там был Митягин, там был Горин...

Akiva M. Yaglom, Dec. 2, 1988; Part 3

А. М.: Я рассказывал о семинаре по функциональному интегрированию, который мы вели вместе с Гельфандом на мехмате. Мы с ним составили подробный план. (У него, как всегда, сидишь целый день, до восьми часов никакой работы не происходит, а с 8 до 11 он энергично работает, и ты опаздываешь на метро и вообще черт знает что). После этого он на первые три, примерно, занятия ходил и принимал активное участие, а потом перестал. Я, правда, к нему несколько раз обращался с какими-то вопросами, и он со мной что-то обсуждал. Но на семинар он ходить перестал. После того, как я сказал, что семинар был удачный и что надо бы записать все это в виде статьи, он предложил: "Ну, вы его вели, вы и пишите. Я, ведь, фактически, не принимал участия. Пусть это будет ваша работа". Я сказал, что как же, мы ведь вместе разрабатывали план. Он действительно играл большую роль, идея этого семинара была его, но на занятия он не ходил. "Ну нет-нет, это ваш семинар, вы сами и пишите". Я написал и принес ему показать. И при этом я увидел, что ему очень хочется, чтобы и его имя там тоже было. Он спрашивал "А вы считаете, что это, действительно, должна быть ваша работа?" -- Хотя я этого не считаю, это он сам мне говорил. Это было очень откровенное подначивание, и я сказал "Ну, Израиль Моисеевич, я ведь вам предлагал, чтобы это была совместная работа. Давайте, я поставлю ваше имя?" « Ну, если вы так настаиваете..." А я, в общем, так не настаивал.

Е. Б.: И в результате Гельфанд--Яглом?

А. М.: Гельфанд--Яглом. Я думаю, что популярность была бы меньше, если бы был один Яглом. Я верю, что она бы тоже была популярна, но не настолько, все-таки. И я думаю, что Гельфанд давным-давно забыл про странные обстоятельства написания этой вот статьи.

Е. Б.: Вообще, конечно, все мы не безгрешны, и он, по-видимому, тоже обладает известной долей честолюбия -- если не сказать, тщеславия.

А. М.: Да, и надо сказать, что Сталинскую премию он получил за работы с Наймарком. А для того, чтобы как-то оправдать, что дали только Гельфанду, туда включили еще работы Гельфанда и Яглома по релятивистски-инвариантным уравнениям. Формально "За работы о бесконечных представлениях групп и их приложениям к теории бесконечных релятивистски инвариантных дифференциальных уравнений". Гельфанд отдал 40% полученных денег Наймарку и 10% мне, оставив себе 50%. Относительно себя у меня никаких претензий нет, а вот Наймарку, я думаю, надо было дать столько же, сколько и себе.

Е. Б.: Дело не только в деньгах, конечно.

А. М.: Конечно. И вначале он говорил, что будет протестовать и что без Наймарка он премию не примет. Как говорил мне Володя Рохлин, то же было с премией Сергея Новикова. Новиков говорил, что без Рохлина он ее получать не будет, но, в конце концов, благополучно получил. Если уж я начал об этом говорить, то как-то странно, что и Колмогоров, и Гельфанд были очень равнодушны к тому, что на них не сослались. Притом что ссылались на них, кажется, так часто и так много, что если кто-то даже забыл на них сослаться, то это уже было редкое исключение, и тем не менее они с обидой об этом говорили. А Гельфанд ко мне еще без конца приставал, поскольку я ученик Колмогорова: "Кто более великий математик, Колмогоров или я?".

Е. Б.: И что ты отвечал?

А. М.: Я никогда не говорил, что он. Я или со злости говорил "Колмогоров" -- и тогда он отставал (я говорил даже какие-то слова про роль общих идей). Или я говорил: «Знаете, по-моему, нелепо сравнивать. Это частично упорядоченное множество, а вовсе не упорядоченное». И в это я, действительно, верю. Гельфанд, конечно, большой математик.

Е. Б.: Разумеется. Но Колмогоров тоже не маленький.

А. М.: Я думаю, что Колмогоров даже больше. Какой-то глубиной. Технически трудных работ у него нет. Но у Гельфанда ведь тоже нет. Технически трудную работу делал не он, а его сотрудники. Трудные работы, безусловно, у Марка Григорьевича Крейна, который, математик, не намного, но все-таки меньше и того, и другого. Он аналитик очень сильный, и у него работы трудные, но ведь дело не в том, чтобы работы были трудные.

Е. Б.: Конечно. Я не знаю, что трудней: интеграл Лебега, или интеграл Данжуа. Наверно, Данжуа труднее.

А. М.: Да. Мне очень жалко, что Крейна недооценивают.

Е. Б.: На Западе его очень ценят.

А. М.: А вот в Советском Союзе очень сильно недооценивают. Крейн немножко провинциален, но он какой-то очень честный, чистый, в общем, хороший человек.

Е. Б.: Я с ним лично не знаком, но математик он прекрасный.

А. М.: У него очень много учеников, которые его обожают. Учеников он не эксплуатирует, а очень много им помогает, совершенно самоотверженно.

Е. Б.: Гельфанд, мне кажется, на меня немножко обижен. В математическом детстве я был его учеником, но потом отказался с ним сотрудничать.

А. М.: А Колмогоров затаил некую обиду на Гельфанда. Есть две совместные статьи Колмогорова, Гельфанда и Яглома. Я взаимодействовал и с Гельфандом, и с Колмогоровым, а Колмогоров говорил: «К сожалению, я с Гельфандом не могу иметь дело». Была знаменитая история, когда Колмогоров председательствовал на заседании Математического общества. Гельфанд был докладчиком и он опаздывал. Когда Колмогорову сказали, что Гельфанд стоит этажом ниже и с кем-то разговаривает, то Колмогоров взял и ушел.

Е. Б.: Да, это я прекрасно помню. Гельфанд раздражал многих.

А. М.: Да-да. И вот существует две статьи трех авторов, которых Колмогоров упорядочил по алфавиту Гельфанд-Колмогоров-Яглом. В одной он в какой-то степени использовал наш доклад с Гельфандом, но написал ее целиком и прислал нам с вопросом: не возражаем ли мы против такой заметки. А вторая -- большая статья в "Трудах математического съезда". Там раздражение Колмогорова проявилось в сноске, где говорится, что первый и второй параграфы этой работы написаны Колмогоровым, а третий и четвертый -- Ягломом. Эта работа вошла в третий том избранных трудов Колмогорова. Причем типичный Колмогоров, который утверждает, что какие-то формулы принадлежат Яглому. Ей-богу, я их не выводил! Работы Колмогорова с кем-то тоже обычно писал Колмогоров.

Редактор книги Гнеденко и Колмогорова мне говорила: она понимает, когда в середине книги двух авторов вдруг начинаются совсем другие обозначения, но эту-то книгу писал один автор! Разумеется, это был Колмогоров.

Е. Б.: А техническим редактором был молоденький Юра Прохоров, и Колмогоров мне сказал однажды: "Если бы мы с Прохоровым писали, мне было бы намного легче".

А. М.: Крейн мне однажды сказал, что первые две работы Гельфанда написал он, Крейн. Это были доклады Гельфанда, но заставить Гельфанда их написать было невозможно, и их написал Крейн.

Е. Б.: Сложный человек Израиль Моисеевич, но я тебе должен сказать, что, уезжая в Америку, я позвонил Колмогорову и Гельфанду, чтобы попрощаться. Колмогоров был в Комаровке, я сказал Анне Дмитриевне, что я уезжаю, просил передать Андрею Николаевичу... Андрей Николаевич никак не отреагировал, так что я с ним не попрощался. Потом я позвонил Гельфанду. Мы попрощались, и он пожелал мне всех благ.